

и в спецконвое, и никогда не было у него побега. Его даже наградили медалью „За боевые заслуги“ — такие медали выдавали и в глубоком тылу». <sup>26</sup>

«Но ведь был живой человек — номер пятьдесят девятый. Он-то мог сказать, что кличка „Берды“ принадлежит ему? Мог, конечно. Но каждый развлекается, как может. Каждый рад смущению и панике в рядах начальства. Навести начальство на истинный путь может только фраер, а не вор. А пятьдесят девятый номер был вор». <sup>27</sup>

Распутывая нелепую по истокам историю, писатель вновь убеждался в сущностном подобию колымских начальников и блатарей (по официальному определению, «друзей народа»), что было ведущей темой шаламовской прозы вообще. Об этом свидетельствовал и *выстраданный документ* о Берды Онже, анализ которого стимулировал воссоздание *правды* о колымской каторге.

Писатель недаром заявлял: «...очерков в „Колымских рассказах“ нет. Я не пишу воспоминаний и стараюсь уйти от рассказа как формы. Очерки — это „Зеленый прокурор“, „Курсы“, „Материал о ворах“. Все остальное — не очерки, а, как мне кажется, гораздо важнее». <sup>28</sup>

«Достоверность, — по убеждению Шаламова, — вот сила литературы будущего». <sup>29</sup>

<sup>26</sup> Шаламов В. Т. Собр. соч. Т. 1. С. 633.

<sup>27</sup> Там же. С. 636.

<sup>28</sup> Шаламов В. Из переписки / Публ. и прим. И. Сиротинской // Знамя. 1993. № 5. С. 142.

<sup>29</sup> Шаламов В. Т. Собр. соч. Т. 1. С. 203. Ср.: «ДОСТО- частица, ставимая слитно перед сущ. и прилг. для усиления их достоинства или значения. Достоверный, стоящий вероятия, вполне верный, истинный, несомненный» (*Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Т. 1. С. 479).

DOI: 10.31860/0131-6095-2024-2-200-210

© И. З. Сурат

### «ЕСЛИ Б МЕНЯ НАШИ ВРАГИ ВЗЯЛИ...» О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ: СТИХИ О РАЗУМЕ И БЕЗУМИИ

У позднего Мандельштама есть стихотворение, которое почти никогда не цитируют, а если и цитируют, то только для того, чтоб рассказать, как вдова поэта Надежда Яковлевна переделала в нем последнюю строчку, изменив ее смысл на противоположный. Надежду Яковлевну теперь принято уличать в фальсификации мандельштамовских текстов и биографии, между тем ее поступок заслуживает того, чтобы в нем разобраться, а для этого нужно прежде всего разобраться в самих стихах:

Если б меня наши враги взяли  
И перестали со мной говорить люди,  
Если б лишили меня всего в мире:  
Права дышать и открывать двери,  
И утверждать, что бытие будет  
И что народ, как судия, судит, —  
Если б меня смели держать зверем,  
Пищу мою на пол кидать стали б —  
Я не смолчу, не заглушу боли,  
Но начерчу то, что чертить волен,  
И, раскачав колокол стен голый  
И разбудив вражеской тьмы угол,  
Я запрягу десять волов в голос

И поведу руку во тьме плугом —  
 И в глубине сторожевой ночи  
 Чернорабочей вспыхнут земле очи,  
 И — в легион братских очей сжатый —  
 Я упаду тяжестью всей жатвы,  
 Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы —  
 И налетит пламенных лет стая,  
 Прошелестит спелой грозой Ленин,  
 И на земле, что избежит тленья,  
 Будет будить разум и жизнь Сталин.  
 февр. 37 г. / В.

Мы здесь привели текст по так называемой «Наташиной книге» — рукописному собранию стихов Мандельштама, составленному Надеждой Яковлевной в Воронеже в 1937 году и переданному на хранение Н. Е. Штемпель.<sup>1</sup> Стихотворение переписано рукой Надежды Яковлевны, и последняя строчка читается отчетливо: «Будет будить разум и жизнь Сталин». Однако много лет спустя, осенью 1965 года, она пишет Н. А. Струве: «Кстати о текстах: в одном стихотворении вместо „будет губить“ напечатано „будет будить“. Выходит очень смешно».<sup>2</sup> Это была ее реакция на первое издание американского собрания сочинений Мандельштама (1964), и уже во втором издании составители вынуждены были заменить «будить» на «губить».<sup>3</sup> В дальнейшем стихотворение именно в таком виде запечатлелось в памяти целого поколения читателей.

Эту историю подробно прокомментировала Э. Г. Герштейн: «Неудачной надо признать попытку Н. Я. Мандельштам превратить стихотворение „Если б меня наши враги взяли...“ в еще одно обличение Сталина. Совершенно очевидно, что оно было задумано во славу Сталина под влиянием все туже затягивавшейся петли вокруг шеи еще живого поэта. Однако, предполагая сочинить нечто вроде хвалебной оды, Мандельштам увлекся силой сопотривления и написал торжественную клятву во имя Поэзии и народной Правды. И только финал выглядит в этом контексте пристегнутым и фальшивым добавлением. <...> Я впервые услышала эти стихи, когда печатала полный свод его московских и воронежских стихов под диктовку Надежды Яковлевны. Это было сразу после реабилитации Осипа Эмильевича, мы работали в 1957 г. Я была поражена тогда не столько банальностью заключительных строк, сколько энергией и силой всего стихотворения. Мы обе погоревали тогда, что такое выдающееся стихотворение испорчено подставленным финалом. Но сошлись на том, что это — обыкновенный камуфляж, так часто применяемый прогрессивными поэтами в подцензурной печати. Ни о каком другом варианте Надежда Яковлевна не вспоминала. <...> Виктория Швейцер, составительница книги „Воронежские тетради“ О. Мандельштама и работавшая по его архиву, не нашла там никакого варианта, поэтому оставила первоначальную редакцию апофеоза этого стихотворения, отметив в сноске к слову „будить“: „в памяти Н. Я. Мандельштам вариант «губить»“. Думаю, что сомневаться не приходится: у поэта Мандельштама такого варианта не было».<sup>4</sup>

Эмма Герштейн говорит, что в результате замены последней строки в тексте возникла «несуразица», но, кажется, дело обстоит сложнее. В самом мандельштамовском стихотворении есть что-то такое, что подтолкнуло Надежду Яковлевну на подмену финала. Что же? На этот вопрос попыталась ответить Л. Л. Горелик в работе, специально посвященной этим стихам (до сих пор она остается единственной), — в результате

<sup>1</sup> Princeton University Library. Osip Mandel'shtam Papers, 1900s–1970s (mostly 1914–1937). Box 4. Folder 17. Л. 73; URL: [https://findingaids.princeton.edu/catalog/C0539\\_c192?onlineToggle=false](https://findingaids.princeton.edu/catalog/C0539_c192?onlineToggle=false) (дата обращения: 31.05.2024).

<sup>2</sup> Мандельштам Н. Я. Книга третья. Paris, 1987. С. 321.

<sup>3</sup> Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 3 т. Нью-Йорк, 1967. Т. 1. С. 254.

<sup>4</sup> Герштейн Э. Г. О гражданской поэзии Мандельштама // Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама: Воспоминания. Материалы. «Новые стихи». Комментарии. Исследования. Воронеж, 1990. С. 354–355.

лексико-семантического анализа с подключением разного рода контекстов она пришла к выводу о двусмысленности идеологического посыла стихотворения и, в частности, его завершающих стихов о Ленине и Сталине: «Ленин» рифмуется с «тленем», а «Сталин» — со «стаей», это слово, по мнению исследовательницы, «несет явно отрицательную оценку».<sup>5</sup> Л. Л. Горелик переносит акцент с коды про Ленина и Сталина на образ поэта: «Центральной темой в стихотворении является не славословие и не хула Сталину («будить» или «губить»). „Сталин“ в стихотворении — лишь свойственная данной эпохе форма проявления естественного, и в другие времена существовавшего, зачем-то нужного мирового зла. Силой своего таланта, жертвуя собой вместе со страдающим народом, поэт во все времена (в подтекстах возникают Боян, Пушкин, Лермонтов, Хлебников, Клюев) сдерживает мировое зло, благодаря чему мир продолжает существовать. Но теургическая миссия поэта неосуществима вполне, так как продолжает существовать и зло. В центре стихотворения — образ поэта, в трагических условиях вечного противостояния добра и зла осуществляющего, совместно с народом, свою великую миссию».<sup>6</sup>

Действительно, это стихи о жертве поэта, о силе поэтического слова, о готовности погибнуть вместе со всеми, и звучат они сильно и правдиво — как исповедание веры в слово и в великий смысл личной жертвы, как будто только ценой своей гибели поэт может утвердить правду «на земле, избежавшей тленья». Но помимо этого вневременного смысла, в стихи входит и реальное историческое время — входит через лексику, требующую пояснений, и главное — через имена двух политических вождей. И тут предложена Л. Л. Горелик трактовка стихотворения прямо противоречит тому, что в нем сказано. Сталин, несомненно, представляет мировое зло с нашей, сегодняшней точки зрения, но поэт утверждает, что Сталин будет вечно «будить разум и жизнь». Такое славословие очень трудно было принять в те энтузиастические годы, когда только открывалось для всех наследие Мандельштама и обнаруживались обстоятельства его судьбы, — образ поэта, бросившего личный вызов Сталину и загубленного в лагере, деформировал восприятие текстов. Но теперь настало время истории литературы, когда мы можем без давления той или другой идеологии попробовать прочитать эти стихи так, как они написаны, в контексте творческом и биографическом, без которого тут не обойтись.

В них отразилось стремление Мандельштама разделить судьбу народа, говорить от его лица (ср. в отрывке 1931 года: «Я говорю за всех с такою силой, / Чтоб небо стало небом, чтобы губы / Потрескались, как розовая глина...»<sup>7</sup>), утверждать его правоту — «утверждать, что <...> народ, как судия, судит». Тема народа-судии здесь возникает не впервые — это прямое продолжение стихов первого года революции: «Восходишь ты в глухие годы — / О солнце, судия, народ» («Прославим, братья, сумерки свободы...», 1918 — 1, 103). Народ прав в своем политическом выборе, но народ для поэта не только судия, а и семья, в которой он не хочет быть отщепенцем, а именно им он себя чувствовал в 1930-е годы: «Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье...» («Сохрани мою речь навсегда...», 1931 — 1, 160). Слово «брат» — вообще важное и частое у Мандельштама, и сама тема братства остро звучат у него в социально-политическом контексте; с этой темы начинаются первые послереволюционные стихи: «Прославим, братья, сумерки свободы...», а в стихах 1935–1937 годов тема братства связывается с гибелью, с готовностью погибнуть вместе со всеми за общие идеалы: «И — в легион братских очей сжатый / Я упаду тяжестью всей жатвы» (в других стихах он вспоминает «немецких братьев шеи», имея в виду казни коммунистов в фашистской Германии, — «Стансы», 1935 — 1, 202).

<sup>5</sup> Горелик Л. Л. Тема поэта-теурга в стихотворении Мандельштама «Если б меня наши враги взяли...» // Смерть и бессмертие поэта: Материалы междунар. науч. конф., посвященной 60-летию со дня гибели О. Э. Мандельштама. М., 2001. С. 65.

<sup>6</sup> Там же. С. 71.

<sup>7</sup> Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 165. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте сокращенно, с указанием номера тома и страницы.

Отщепенство поэт преодолевает через слово. Мандельштам не просто хотел быть услышанным — он хотел иметь «социальное влияние» и сетовал на то, что его не имеет: «Вот Есенин, Васильев имели бы на моем месте социальное влияние. Что я? — Катенин, Кюхля...»<sup>8</sup> Комментируя эти слова, Е. А. Тоддес уточнял: «Мандельштам <...> предполагает, что в данных социокультурных условиях востребован поэт открыто эмоционального типа, непосредственно принимаемый народной аудиторией в качестве национально и социально тождественного ей, „своего“...»<sup>9</sup> В стихотворении «Если б меня наши враги взяли...», как и в так называемой «Оде Сталину» («Когда б я уголь взял для высшей похвалы...», 1937), Мандельштам апеллирует к этой «народной аудитории» с ее идеалами и старается говорить от ее лица, — отсюда местоимения «мы», «наши» в этих стихах, но мы помним, что и антисталинская инвектива 1933 года, стоившая Мандельштаму свободы и в конечном счете жизни, начиналась со слова «мы»: «Мы живем, под собою не чуя страны...» — если тогда он считал, что открывает людям правду о тиране и что его разоблачительные стихи «комсомольцы будут петь на улицах! <...> В Большом театре... на съездах... со всех ярусов...»,<sup>10</sup> то теперь все видится иначе — теперь он объединяется с братьями в противостоянии «нашим врагам» с именем Сталина на устах. Но и то и другое отражает стойкую потребность Мандельштама поэтическим словом участвовать в общенациональной жизни. Про «Если б меня наши враги взяли...» можно сказать словами Е. А. Тоддеса: «...текст описывает мистерию включения „я“ в „социальную архитектуру“ России и в ее историческую судьбу» — Тоддес пишет о раннем стихотворении «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...» (1913),<sup>11</sup> но, по существу, то же относится к ряду «политических» стихотворений 1935–1937 годов.

В «Если б меня наши враги взяли...» Мандельштам говорит как трибун, он формирует голос и саму тему голоса делает предметом поэтической речи: «Я запрягу десять волов в голос...» — как тут не вспомнить поэму «Во весь голос» Владимира Маяковского, «агитатора, горлана-главаря»; роль поэта он связывает с традиционными для русской гражданской поэзии образами «колокола» и «пахаря». Сам же лирический сюжет стихотворения примыкает к традиции «тюремной поэзии», широко представленной в русской литературе XIX века от Пушкина («Андрей Шенье») и Кюхельбекера до поэтов-народников второй половины XIX века — таких, как Николай Морозов, Вера Фигнер и др.

Мощному и необычному звучанию этой поэтической клятвы способствует, по определению М. Л. Гаспарова, «сложный логоэдический размер, уникальный у Мандельштама <...> Размер этой определяется как „два хориямба и хорей“ (таковы 20 из 23 строк; отклонения — в ст. 2, 3 и 16). Необычен он потому, что в каждой строке есть два резко звучащие стыка ударений (на стыках стоп). В русском стихе подобные хориямбические ритмы употреблялись лишь в переводах (и стилизациях) античной поэзии. Можно почти с уверенностью сказать, что Мандельштама навело на них воспоминание об Эсхиле в „Оде“ и в „Где связанный и пригвожденный стон...“. <...> Античные образцы были нерифмованными; стихотворение Мандельштама рифмованно, но так, что в начале кажется нерифмованным из-за сложного расположения рифм (АВсСВВСА, где с и С рифмуют диссонансно, „в мире — двери — зверем“); затем в середине следуют легко уловимые рифмы АА, ВСВС, DD, EEE, а в конце рифмовка опять усложненная, охватная: АВВА. Большинство рифм неточные, от этого следить за ними еще труднее».<sup>12</sup>

<sup>8</sup> О. Э. Мандельштам в письмах С. Б. Рудакова к жене (1935–1936) / Вступ. статья Е. А. Тоддеса и А. Г. Меца; публ. и подг. текста Л. Н. Ивановой и А. Г. Меца; комм. А. Г. Меца, Е. А. Тоддеса, О. А. Лекманова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год. СПб., 1997. С. 62.

<sup>9</sup> Там же. С. 19–20.

<sup>10</sup> Герштейн Э. Г. Мемуары. СПб., 1998. С. 51.

<sup>11</sup> Тоддес Е. А. Избр. труды по русской литературе и филологии. М., 2019. С. 344.

<sup>12</sup> Гаспаров М. Л. О. Мандельштам: Гражданская лирика 1937 года. М., 1996. С. 105–106 (Чтения по истории и теории культуры; вып. 17).

На стыках ударений возникает пауза, вследствие чего последнее слово в каждом стихе звучит энергично, резко, твердо, отдельно и получает особую значимость, в число этих акцентированных слов входят и два названных имени: Ленин, Сталин. Заметим, что такой педалированный стих создает не самый органичный для Мандельштама тип поэтической речи, скорее характерный для поэтов агитационного склада, вроде Маяковского.

Кто же те общие «враги», которым поэт противопоставит силу слова?

М. Л. Гаспаров предположил, что стихотворение о врагах — «это, видимо, отклик на атмосферу вокруг второго московского процесса 23–26 января 1937 г.; а может быть, и на арест Бухарина, главного покровителя Мандельштама, на февральском пленуме».<sup>13</sup> Главной темой показательного суда и сопровождавшей эти события пропагандистской кампании была тема врагов народа, диверсантов, шпионов и вредителей, проникших в руководство партии и государства. Как показал О. А. Лекманов, некоторые мотивы стихотворения текстуально соотносятся с материалами тогдашних газет: «Сравним хотя бы мандельштамовский зачин («Если б меня наши враги взяли») с заглавием редакционной передовицы, напечатанной на первой странице „Коммуны“ 27 января 1937 года («Наши заклятые враги»), а также строку Мандельштама „И разбудив вражеской тьмы угол“ со следующими фрагментами из речей А. Платонова и В. Ставского: „...Враг не сдастся, он будет заострять свое оружие против нас. Поэтому надо попытаться осветить точным светом искусства самую «середину тьмы» — тогда мы будем иметь еще один способ предвидения наиболее опасных врагов“ (А. Платонов) (Литературная газета. 1937. 26 января. С. 5); „У нас с вами дочери и сыновья — какое будущее готовили им эти враги народа? Тьму кромешную, всю адскую тьму капиталистического строя — вот что готовили для наших детей“ (В. Ставский) (Литературная газета. 1937. 1 февраля. С. 3)».<sup>14</sup>

К этой выразительной подборке прибавим еще одну газетную публикацию тех дней — стихотворение Николая Заболоцкого:

#### Предатели

Как? Распродать страну?! Чтоб под сапог германский  
 Все то, что создано работою гигантской,  
 Всем напряженьем сил, всей волею труда, —  
 Колхозы, шахты, стройки, города, —  
 Все бросить, все продать?! Чтоб на народном теле  
 Опять они, как вороны, сидели!  
 Чтобы нагайка снова по спине  
 Пошла гулять! Чтобы по всей стране  
 Застенки выросли! Чтоб фабрики, заводы,  
 Колхозы, шахты, пашни, пароходы —  
 Все снова им, на выбор, с молотка!  
 Нет, руки коротки. Здесь мы живем пока.  
 Здесь мы живем. Здесь, в этой части света  
 Ударил гром, чтоб потряслась планета —  
 Наш первый гром, предшественник громов.  
 Сквозь бедствия войны, переполох умов,  
 Сквозь горе человеческое, муку  
 Мы пронесли великую науку —  
 Науку побеждать, чтоб был у власти Труд,  
 Науку строить так, как в песнях лишь поют,  
 Науку веровать в людей и, если это надо, —  
 Уменьше заклеить и уничтожить гада.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Там же. С. 106.

<sup>14</sup> Лекманов О. А. Осип Мандельштам: ворованный воздух. Биография. М., 2016. С. 391–392.

<sup>15</sup> Известия. 1937. 27 янв. С. 4.

Как видим, мандельштамовское стихотворение было, что называется, в тренде тогдашней пропаганды, недаром оно получило положительный отзыв доносчика П. А. Павленко,<sup>16</sup> которому стихи Мандельштама были отданы на идеологическую экспертизу. И все-таки первые 8 строк выглядят странно: Мандельштам не говорит о расправе над «врагами», как Заболоцкий, — он говорит о расправе над ним самим; при этом под видом того, что могут сделать с поэтом «враги», в стихотворении описываются репрессии, которым в эти дни и месяцы подвергались сами эти «враги», — так К. Б. Радек был 30 января 1937 года приговорен к 10 годам тюрьмы, а Г. Л. Пятаков и Л. П. Серебряков 1 февраля были расстреляны. В числе обвинявшихся был и Н. И. Бухарин, добрый знакомый и покровитель Мандельштама, неизменно помогавший ему во всем — от издания книг до решения бытовых проблем. «Всеми просветами в своей жизни О. М. обязан Бухарину», — писала Надежда Яковлевна. «Его последний дар — переезд из Чердыни в Воронеж» как результат заступничества за арестованного Мандельштама перед Сталиным.<sup>17</sup> Мог ли Мандельштам не сочувствовать в эти дни Бухарину, который в ответ на травлю в феврале 1937 года объявил голодовку, а 27 февраля был арестован? По свидетельству Надежды Яковлевны, он тогда вспоминал фразу Бухарина: «Мы, большевики, относимся к этому просто: каждый из нас знает, что и с ним это может случиться. Зарекаться не приходится».<sup>18</sup>

В стихотворении, обличающем врагов народа, поэт примеряет на себя их участь — отсюда двусмысленность, ощущаемая не только сегодня, когда мы хорошо знаем, что случилось с самим Мандельштамом, но ощущавшаяся и тогда его современниками: Корней Чуковский, которому Мандельштам послал эти стихи, якобы сказал Надежде Яковлевне, «что последние строки ничуть не вытекают из начала — еще неизвестно, кто это „наши враги“, которые могут запереть двери...». Заметим, что к авторитету Чуковского Надежда Яковлевна прибегает именно там, где она излагает сомнительную версию о «подставном» финале: «Последние две строки пришли к нему неожиданно и почти испугали его: „Почему это опять выскочило?“ Возник вопрос, как это записать. Я предложила подставную последнюю строку: „Будет будить“ и вместо союза „а“ союз „и“...»<sup>19</sup>

До сих пор мы говорили о некоторых нестыковках мандельштамовского стихотворения, исходя из внешних обстоятельств, как общественных, так и личных, биографических, — теперь попробуем взглянуть на это изнутри самого текста, посмотреть, как он устроен и что в нем сказалось сверх того, что сказано ясно и напрямую.

Эмма Герштейн отметила диссонанс между нарастающей мощью первых 19 строк и слабым финалом, который кажется ей «притегнутым и фальшивым добавлением», однако смысловая граница проходит не здесь. Ее помогает увидеть анализ грамматической структуры стихотворения, представляющего собой одно сложноподчиненное предложение распадающееся на две части — главную и придаточную. Придаточная часть — первые 8 стихов в сослагательном наклонении: «Если б меня наши враги взяли... Если б лишили... Если б меня смели...», главная часть — последующие 15 стихов в изъявительном наклонении и в будущем времени: «Я не смолчу... Я запрягу... Я упаду...» Все это сказано одной фразой и как будто на одном дыхании, но читатель или слушатель спотыкается о некоторый аграмматизм — ненормативный переход из условного плана в безусловный в рамках одного предложения. Грамматическая норма диктует один вариант из двух: «Если б меня взяли, я бы не смолчал» или «Если меня возьмут, я не смолчу», здесь же в одной фразе сталкиваются две разных модальности, два плана — реальный и предполагаемый, так что это столкновение само по себе ставит под вопрос внутреннюю логику текста. Настоящей связи между придаточным и главным, между условием и клятвой не чувствуется, в их соединении есть что-то искусственное.

<sup>16</sup> См.: Шенталинский В. Улица Мандельштама // Огонек. 1991. № 1. С. 20.

<sup>17</sup> Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М., 1999. С. 134.

<sup>18</sup> Там же. С. 135.

<sup>19</sup> Мандельштам Н. Я. Третья книга / Сост. Ю. Л. Фрейдин. М., 2006. С. 412.

Другое семантическое деление текста связано с субъектностью — отчасти оно совпадает с модальным делением, но не совсем: в первой, придаточной части говорящий субъектности лишен, он лишь претерпевает насильственные действия, а акторами выступают сначала «наши враги» (1-й стих), затем вообще «люди» (2-й стих), а дальше акторов просто нет, и непонятно, кто может поэта лишить «всего в мире» и «держат зверем», — все это происходит в области предполагаемого, воображаемого и даже фантазийного, как можно подумать, если имманентно рассматривать этот текст, не соотнося его с реалиями мандельштамовской биографии. Во второй, изъявительной части высказывание резко переходит в перволичную форму — поэт с силой утверждает свою субъектность, на три «если б» он отвечает тремя «я» с глаголами активного действия, так что финальное пророчество собственной гибели («Я упаду тяжестью всей жатвы») тоже как будто оказывается результатом его личного волеизъявления. А затем эта субъектность теряется, лирическое «я» исчезает,<sup>20</sup> и в том пространстве, где самого поэта уже нет, утверждается субъектность двух политических вождей, причем торжество Ленина мыслится в будущем времени, а торжество Сталина — в вечности. Синтаксически это пророчество выстроено так, что их торжество оказывается следствием жертвы, принесенной поэтом. Заметим, что такой финальный выход в будущее, за границу собственной смерти характерен для поэзии Мандельштама двух последних лет: «Да, я лежу в земле, губами шевеля, / И то, что я скажу, заучит каждый школьник...» (1935 — 1, 199), или: «Уходят вдале людских голов бугры: / Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят, / Но в книгах ласковых и в играх детворы / Воскресну я сказать, как солнце светит» (1937 — 1, 311) — последний пример из так называемой «Оды» особенно близок нашему стихотворению, будущее в нем тоже связывается со Сталиным, так же, как и в более раннем стихотворении: «Мне кажется, мы говорить должны / О будущем советской старины, / Что ленинское-сталинское слово — / Воздушно-океанская подкова...» (1935 — 1, 306). Экзистенциально важная для Мандельштама тема будущего переведена в этих стихах в политический план.

И тут пора сказать, что гипотетическое лишение свободы, описанное Мандельштамом в первой части, на самом деле с ним на тот момент уже случилось. Надежда Яковлевна передает слова Мандельштама: «...в этом стихотворении точная формулировка „тюремного чувства“: когда лишают права дышать и открывать двери».<sup>21</sup> Мандельштам все это пережил в тюрьме на Лубянке, куда его поместили после ареста в мае 1934 года. Среди его записей сохранилось лишь одно прямое свидетельство этих двенадцати дней, проведенных во внутренней тюрьме НКВД: «Следователь мне заявил, что я должен пройти через утрашающие минуты, но что для поэта страх, конечно, ничто... В карцере не давали пить, когда я подходил к глазку, брызгали в глаз какой-то вонючей жидкостью. Эти восемь часов оказались решающими для всего психического заболевания» (2, 467).

У Надежды Яковлевны со слов Мандельштама рассказано больше, и некоторые детали прямо перекликаются с нашим стихотворением: «Следователь О. М., пресловутый Христофорыч, был человеком не без снобизма и свою задачу по запугиванию и расшатыванию психики выполнял, видно, с удовольствием. Всем своим видом, взглядом, интонациями он показывал, что его подследственный — ничтожество, презренная тварь, отребье рода человеческого» — ср.: «Если б меня смели держать зверем»; «с момента ареста у заключенного прерывается всякая связь с внешним миром» — ср.: «Если б лишили меня всего в мире»; «О. М. подвергся тем физическим пыткам, которые практиковались у нас всегда. В первую очередь это бессонный режим. На допросы его водили каждую ночь, и они продолжались по многу часов»; «О. М. кормили соленым, но пить не давали <...> Когда он требовал воды у того же

<sup>20</sup> Несколько иначе (и, кажется, не совсем точно) говорит об этом М. Л. Гаспаров: «Всё стихотворение представляет собой одно трехчастное предложение, где подлежащее первой части — „враги“, второй части — „я“, а герой третьей части — народ и в нем „я“, как жатва и клятва» (Гаспаров М. Л. О. Мандельштам: Гражданская лирика 1937 года. С. 107).

<sup>21</sup> Мандельштам Н. Я. Третья книга. С. 412.

часового, подходя к „глазку“, его тащили в карцер и завязывали в смирительную рубашку».<sup>22</sup> Все эти рассказы сопровождаются темой безумия — психический срыв случился у Мандельштама сразу, и, увидев его на свидании, Надежда Яковлевна прежде всего обратила внимание на безумные глаза и вообще «безумный вид».<sup>23</sup> Болезненное состояние продолжалось и потом, на пути в Чердынь и в Чердыни: Мандельштаму казалось, что его преследуют, он все время ждал расправы, ему «мерещились грубые мужские голоса, запугивающие, квалифицирующие его преступление, перечисляющие всевозможные кары, говорящие на языке наших газет в дни сталинских разоблачительных кампаний»,<sup>24</sup> — кажется, что и эти впечатления, эти галлюцинации отразились в стихотворении о «врагах», тоже отчасти говорящем на языке тогдашних газет.

В Чердыни Мандельштам был определен в больницу для проведения психиатрической экспертизы и выбросился там из окна, о чем написал потом в «Стансах» (1935): «Прыжок. И я в уме». Надежда Яковлевна, пытавшаяся обеспечить ему медицинскую помощь, услышала от врача: «Все они „оттуда“ приезжают в таком состоянии <...> Это у них проходит... Но я бы хотела знать, как „это“ называется в медицине, почему оно поражает такое количество подследственных, какими условиями „внутри“ обусловлена массовость заболевания. Повторяю, О. М. обладал чрезмерной возбудимостью, может быть, склонностью к психическим заболеваниям, и меня поразила не его болезнь, а то, что все, с кем я сталкивалась, твердили мне о массовости этих заболеваний...»<sup>25</sup>

О психическом состоянии Мандельштама в Лубянской тюрьме мы теперь знаем и от совершенно постороннего ему человека: недавно Л. М. Видгофом были опубликованы воспоминания Б. В. Мяздрикова, оказавшегося в мае 1934 года в камере наедине с Мандельштамом. Борис Мяздриков, попавший на Лубянку за участие в кружке биологов при зоопарке и ничего, по существу, не знавший о поэте, стал свидетелем и жертвой стремительно развившегося у него тюремного психоза: «...говорил он быстро, какими-то отрывками, перескакивая от одной мысли к другой, он был очень возбужден и не мог держать себя в руках <...>

Через некоторое время его вызвали на допрос.

Не помню, долго ли он был на допросе, но вернулся в камеру он в невменяемом состоянии — руки его тряслись, губы вздрагивали, глаза были совсем красными. Не отходя от двери, он устремил на меня воспаленный взгляд и бросил мне в лицо незаслуженное обидное обвинение.

— Я знаю, кто Вы есть! Вы следователь!

Затем полился поток бессвязных фраз — он все возбуждался и возбуждался. Моя попытка прервать его, успокоить, что-то разъяснить ни к чему не привела — он стал метаться по камере, ломать себе пальцы; затем как-то сразу он ослабел, сел на койку и, не раздеваясь, прилег лицом к стене.

Дело шло к вечеру, на душе у меня было скверно. Я тоже лег и вскоре заснул.

Проснулся я оттого, что почувствовал, как чьи-то пальцы щупают мою шею. Около меня стоял Мандельштам, и его руки были протянуты ко мне. Я вскочил и бросился к двери, на мой стук и крики отозвался надзиратель. Вызвали дежурного по корпусу — я весь дрожал от страха и стал просить, чтобы нас разъединили, — „я не хочу сидеть с сумасшедшим!“».<sup>26</sup>

Как видим, рассказ Бориса Мяздрикова, совпадая по сути с воспоминаниями Надежды Яковлевны, дает картину совершенно клиническую и снимает вопросы по поводу неадекватности показаний поэта, зафиксированных в следственном деле. Благодаря этому рассказу прояснилось и одно место из воспоминаний Надежды Яковлевны:

<sup>22</sup> Мандельштам Н. Я. Воспоминания. С. 94, 93, 90, 91.

<sup>23</sup> Там же. С. 38–39.

<sup>24</sup> Там же. С. 67, 80.

<sup>25</sup> Там же. С. 81–82.

<sup>26</sup> Видгоф Л. М. Мандельштам на Лубянке. Из воспоминаний Б. В. Мяздрикова // Знамя. 2018. № 5. С. 114–115.



«Следователь, парируя сообщение О. М., что он содержался в одиночке, заявил о гуманном запрещении одиночек и прибавил, что О. М. был в камере с другим заключенным, но „обижал своего соседа“ и того пришлось перевести. „Какая заботливость!“ — успел вставить О. М., и перепалка на эту тему кончилась».<sup>27</sup>

Тюрьма у Мандельштама всегда была прочно связана с безумием — и в текстах, и в ряде эпизодов его биографии. В 1920 году он дважды попал на короткое время в застенки — сначала в Феодосии, потом в Батуме. О первом случае рассказал Илья Эренбург: «...когда врангелевцы арестовали Осипа Эмилевича Мандельштама, Волошин тотчас отправился в Феодосию. Вернулся он мрачный, рассказал, что белые считают Мандельштама опасным преступником, уверяют, будто он симулирует сумасшествие: когда его заперли в одиночку, он начал стучать в дверь, а на вопрос надзирателя, что ему нужно, ответил: „Вы должны меня выпустить — я не создан для тюрьмы“...»<sup>28</sup> Вскоре освобожденный благодаря вмешательству Волошина и других ходатаев, Мандельштам отправился морем в Батум, где вновь был арестован, на этот раз береговой охраной из-за отсутствия грузинской визы, этот эпизод он описал в очерке «Возвращение» (1924?): «О тюрьмы, тюрьмы! Узилища с дубовыми дверями, громяющими замками, где узник кормит и дрессирует паука и карабкается на амбразуру окна, чтобы выпить воздуха и света в маленьком крепком окошке; романтические тюрьмы Сильвио Пеллико, любезные хрестоматиям, с переодеванием, кинжалом в хлебе, дочерью тюремщика и визитами священника; милые упадочно-феодалные тюрьмы Франсуа Виллона, — тюрьмы, тюрьмы, все вы нахлынули на меня, когда захопнулась гремучая дверь и я увидел следующую картину: в пустой и грязной камере по каменному полу ползал молодой турок, сосредоточенно чистил все щели и углы зубной щеткой. Ему очень не понравилось, что мы пришли и помешали ему, и он пробовал нас выгнать, хотя это было совершенно невозможно» (3, 37).

Литературные стереотипы перекрываются в этом описании тюремной реальностью, явленной в безумном турке с зубной щеткой.

В стихотворении о врагах тоже присутствует тема безумия, но присутствует неявно, имплицитно и выходит на поверхность лишь в последнем стихе, в слове «разум», которое мы бы назвали ключевым для понимания стихотворения — недаром именно его коснулась правка Надежды Яковлевны. Расслышать здесь тему безумия помогает прецедентный текст — пушкинское стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума...» (1833), вообще важное для Мандельштама (с опорой на него написана программная статья «О собеседнике» 1913 года):

Не дай мне бог сойти с ума.  
Нет, легче посох и сума;  
Нет, легче труд и глад.  
Не то, чтоб разумом моим  
Я дорожил; не то, чтоб с ним  
Расстаться был не рад:

Когда б оставили меня  
На воле, как бы резво я  
Пустился в темный лес!  
Я пел бы в пламенном бреду,  
Я забывался бы в чаду  
Нестройных, чудных грез.

И я б заслушивался волн,  
И я глядел бы, счастья полн,  
В пустые небеса;

<sup>27</sup> Мандельштам Н. Я. Воспоминания. С. 89.

<sup>28</sup> Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь (фрагмент) // Осип Мандельштам и его время / Сост., авторы предисловия и послесловия В. Крейд и Е. Нечепорук. М., 1995. С. 118–119.

И силен, волен был бы я,  
Как вихорь, роющий поля,  
Ломающий леса.

Да вот беда: сойди с ума,  
И страшен будешь как чума,  
Как раз тебя запрут,  
Посадят на цепь дурака  
И сквозь решетку как зверка  
Дразнить тебя придут.

А ночью слышать буду я  
Не голос яркий соловья,  
Не шум глухой дубров —  
А крик товарищей моих,  
Да брань зрителей ночных,  
Да визг, да звон оков.<sup>29</sup>

Стихотворения Мандельштама и Пушкина — очень разные прежде всего по посылу: у Мандельштама — стихи ораторские, адресованные большой аудитории и обращенные в будущее, а у Пушкина — разговор с самим собой, достаточно интимный, тревожный. Но при всех различиях оба стихотворения говорят о разуме, о тюрьме и воле. У Пушкина страх потерять разум — отправная точка лирического сюжета, у Мандельштама тема пробуждения разума — финальная, и возникает она как будто неожиданно, хотя с учетом всего уже сказанного не так неожиданно, как может вначале показаться. В описаниях тюрьмы у Мандельштама и сумасшедшего дома у Пушкина (той же тюрьмы) есть словесные совпадения: «Если б меня смели держать зверем, / Пищу мою на пол кидать стали б...» — «Посадят на цепь дурака / И сквозь решетку как зверка / Дразнить тебя придут». Важно заметить, что у обоих поэтов при описании тюремного насилия исчезает лирическое я и вообще исчезает субъект действия — пример связи грамматики и семантики в поэтическом тексте.

Вообще грамматические структуры двух стихотворений сходны: оба построены на условной модальности — у Мандельштама «Если б...», у Пушкина «Когда б...»; в обоих случаях лишение свободы мыслится гипотетически — у Пушкина это выражено разговорной конструкцией с повелительным наклонением в роли условного: «Да вот беда: сойди с ума, / И страшен будешь как чума, / Как раз тебя запрут», при этом сходстве и на этом фоне особенно остро воспринимается мандельштамовский ненормативный слог модальности от нереального к реальному, ставящий под сомнение связь между условием и действием.

Кажется, что пушкинское «Не дай мне Бог сойти с ума...» входит в число смыслопорождающих импульсов стихотворения Мандельштама и что пушкинская тема безумия так или иначе звучит у Мандельштама как подтекст, вольный или невольный. Надежда Яковлевна передала нам слова поэта о точной формулировке «тюремного чувства» в этих стихах, можно эти слова дополнить — здесь сказался не просто тюремный опыт, но опыт тюремного безумия, пережитого Мандельштамом.

Более того, мы видим в этом стихотворении и самосвидетельство некоторого безумия, продлившегося за пределы тюрьмы и двухлетней ссылки, во время которой оно было написано. Это суждение, выходящее за рамки герменевтики, можно себе позволить только потому, что оно опирается на признание самого поэта — его донесла до нас Ахматова в «Листках из дневника»: «О своих стихах, где он хвалит Сталина: „Мне хочется сказать не Сталин — Джугашвили“ (1935?), он сказал мне: „Я теперь понимаю, что это была болезнь“». <sup>30</sup> Сказанное Мандельштамом сходится

<sup>29</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: [В 16 т.]. М.; Л., 1948. Т. 3. Кн. 1. С. 322–323.

<sup>30</sup> Ахматова А. А. Листки из дневника <О Мандельштаме> // Ахматова А. А. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 213.

со свидетельством Пастернака, известным в передаче Вяч. Вс. Иванова: «Пастернак мне говорил, что когда после Воронежа Мандельштам приехал к нему доказывать, что он, Пастернак, недооценивает Сталина, то производил впечатление умалишенного. Клиническую сторону этого можно изучать, но к истории литературы отношения это уже не имеет. Поэты изготовлены из очень слабо защищенного эфирного материала, часто делающего их земное существование просто невозможным. Если не удастся погнаться на дуэли или покончить с собой, не знающий иного способа спасения организм выбирает выход сумасшествия («Не дай мне Бог сойти с ума», — беспокоился Пушкин). „Может быть, это точка безумия“, — скажет Мандельштам в Воронеже. Может быть...».<sup>31</sup>

В стихотворении о мифических врагах, которые якобы могут бросить его в тюрьму, Мандельштам прославляет того, кто реально лишил его свободы, а потом и жизни, — это дало повод Надежде Яковлевне произвести замену в последней строке. Так и слышится ее возмущенный голос: «Да что ж ты, Ося, написал такое, они же разум твой погубили и отняли твою жизнь!» Она выправила стихи по линии мандельштамовской судьбы, «по правде», хотя могла бы просто уничтожить их, как уничтожила «канальские стишки» — поэтический отчет Мандельштама о поездке на канал Волга–Москва летом 1937 года.<sup>32</sup> Но основания для произведенной ею подмены есть, как мы пытались показать, и в самом стихотворении — в его грамматике, семантике, эмоциональном строе.

Главное в этом стихотворении, и тут согласимся с суждением Э. Г. Герштейн, это не финальное прославление Ленина и Сталина, а предыдущие 19 стихов: в них с большой силой выражено то самое «тюремное чувство» — переживание несвободы, удушья, затравленности, но с еще большей силой, на разрыв, звучит голос сопротивления, преодоления тьмы и тюремных стен. И в этом смысле перед нами правдивое и мощное свидетельство того, что реально пришлось пережить поэту. Но сказалось это все помимо намерения автора и даже, может быть, вопреки ему — вопреки той идее, с какой он взялся за эти стихи. И это характерно для ряда гражданских стихотворений 1935–1937 годов, включая «Стихи о неизвестном солдате» (1937), в которых тоже подлежащая идея «оборонного» стихотворения в итоге была полностью перекрыта силой вдохновения, силой поэтического дара. У Мандельштама поэзия даже в так называемой «Оде Сталину» торжествует над идеологией, перекрывает ее; для сравнения вспомним Ахматову — ее цикл «Слава миру» (1950), написанный ради спасения сына, стоит, наверное, печатать не в собрании сочинений, а в составе ее трагической биографии.

В нашем случае Мандельштам явно не собирался писать стихи о том, как насилие, персонифицированное в Сталине, губит разум и жизнь, он хотел сказать что-то противоположное и напрямую сказал, но получилось, что и тема безумия здесь сквозит, и чувство отнятой свободы эмфатически выражено в первых 8 стихах, и мысль об отнимаемой жизни передается не только в традиционном образе жатвы как смерти, но и в субъектной организации текста — в конце авторское *я* исчезает, в прославляемом будущем Сталин есть, а самого поэта уже нет. Получилось стихотворение многослойное, внутри себя противоречивое, мучительное и много говорящее нам о том времени, в какое выпало жить поэту.

<sup>31</sup> Иванов В. В. Мандельштам и наше будущее // Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. Т. 1. С. 27.

<sup>32</sup> Мандельштам Н. Я. Воспоминания. С. 56.